



## М. КУРДЮМОВ

### Православие и большевизм

События, происходящие в России на тринадцатый год ее коммунистического плена, в какой-то плоскости можно и нужно рассматривать как бурное, вулканическое брожение религиозной стихии.

Борьба безбожия с христианством не есть борьба только политическая, а главным образом, борьба *религиозная*.

Советское безбожие не официальный атеизм *лаического\** государства, не атеистическое *миросозерцание*, а именно *религия*, — своеобразная, изуверская, изнанка самого понятия *religio*.

Если мы вдумаемся в те злобно-насильнические методы при помощи которых безбожие насаждается в России, в свирепый фанатизм официально покровительствуемого властью «союза безбожников», то у нас не останется сомнений в том, что перед нами самая подлинная *секта*, исповедующая *черную веру*, которая ныне объявлена, господствующей религией СССР.

*Черная вера* эта имеет свой *катехизис*, свой *культ* богоненавистничества и не терпит никаких проявлений богопочитания. Антираелигиозные карнавалы, суды над Богом, процессия около мавзолея Ленина и поклонение его «мощам», песни и частушки, которым обучают в советских школах точно так же, как прежде обучали молитвам; «октябрины» и гражданские похороны — суть ритуальные проявления этого культа, несомненно содержащего в себе *мистико-патологические элементы хлыстовских радений\**.

Маленьких «пионеров» воспитывают как будущую жреческую касту, с детства одурманивая их остро дразнящими переживаниями активного кощунства.

Если бы советская власть имела в виду истребление «суеверий» путем «научного просвещения» масс, то она не изгоняла бы из школ и университетов тех подлинно научных и философских

трудов, которые расшатывают и опровергают основы материалистического миропонимания. И не даром в России теперь строго запрещены всякие публичные дискуссии на темы об утверждении и отрицании религии, которые иногда допускались в первые годы советского владычества; результаты этих дискуссий оказывались противоречащими видам большевистской пропаганды всякий раз, когда к участию в прениях или к чтению докладов допускались представители духовенства или просто образованные люди из православных мирян.

Что советская власть отнюдь не проповедует атеизм путем свободного обсуждения религиозных и научных установок, а именно приказывает *верить в безбожие*, нас убеждает весь строй жизни в СССР.

Отмена религиозного преподавания в школах есть не более, как фикция, значащаяся только на бумаге. Если мы, например, сравним в этом отношении советские школы с французскими, то мы увидим, что большевики не только не упразднили самого предмета преподавания, а сделали его основой всего обучения и воспитания. Разница лишь в подмене одного предмета другим, или вернее говоря в выворачивании его на изнанку, в извращении его идеи. Во французских государственных школах изъят *закон Божий*, в советских школах он заменен *законом безбожия*, столь же обязательным и первостепенным.

И вообще СССР отнюдь не лаичское государство, утверждающее свободу совести, а какая-то безобразная карикатура на старую самодержавную Россию до 17 октября 1905 г. В СССР точно так же, как в России царской, полнота гражданских прав определяется вероисповедной принадлежностью данного лица, с той лишь разницею, что большевизм не допускает от своей государственной религии никаких отступлений. Прежде в России в школе и в армии для всех православных устанавливалось обязательно, ежегодное говение. Теперь и тут и там, для всех без изъятия, установлены обязательные *безбожные радения*. Советская власть не только своим ответственным работникам, но даже рядовым служащим, чем дальше, тем меньше, позволяет быть религиозно-индифферентными. Она требует удостоверения, свидетельства об исполнении «*антирелигиозных обязанностей*», она требует присутствия своих войск и своих школьников на безбожных и богохульных «торжествах», точно так же как прежде русский император требовал присутствия своих полков на крещенском параде.

И не даром большевики, сорвав иконы со стен общественных учреждений, не оставили этих мест просто пустыми, а на место

христианских эмблем назойливо выставили свой «священный знак» в виде красной звезды, тем самым уничтожая всякий смысл своего лозунга — «религия — опиум для народа».

«Опиумом» оказалась не религия, не христианская церковь, а именно *черная вера* большевизма. Опиумом одурманив своих адептов, она толкнула их на насильственное отравление русского народа. Секта безбожников всей православной России объявила открытую войну. Удушливыми газами провокации, лжи, публичного богохульства, официально поощряемого разврата, умственного и морального гнета, повсеместного шпионажа и кровавого террора, верховные жрецы безбожия, держащие в своих руках всю полноту государственной власти в СССР пытаются лишить своих религиозных противников малейшей возможности сопротивления, уничтожить в них какую бы то ни было инициативу индивидуальной и коллективной самозащиты.

Как же обороняются от этого натиска миллионы православно верующих людей?

Каковы и те средства обороны, которые русский народ находил до сих пор и может найти при дальнейшей борьбе в огромном арсенале своего тысячелетнего Православия?

Нет надобности говорить о том, что золотой покров официального «святорусского» благочестия первого натиска революции не выдержал. Революция обнажила в русском народе и непрочность и шаткость нравственных основ. В крови, в насилиях, в изощренно жестоких глумлениях явился страшный лик зверя. Нужно помнить, что не партия большевиков, а именно народ, масса бушевала и свирепствовала после падения монархии, начиная с военного фронта, и с больших городов, где происходило гнусное по своей жестокости избиение офицеров и кончая каждым закоулком России, — всюду остервенелая жажда крови в ту пору искала насыщения, не разбирая ни правых, ни виноватых.

Обычное объяснение этого жестокого буйства *темнотой неграмотного* народа, мне думается, не совсем удовлетворительно, если мы будем судить не африканских дикарей-людоедов, а православных христиан. Но, если даже половину всех преступлений совершенных именно самим народом, отнести к тому, что «вся страна находилась в состоянии аффекта», то все же какая-то доля пролитой крови даст нам право поставить вопрос: как совместить с христианской настроенностью «народа-богоносца» не только содеянное им в начале революции, в вихре ее первого урагана, но и утвержденное потом зло? Ибо большевизм отнюдь не есть зло постороннее и чуждое русскому *народу*, а в какой-то мере органически им воспринятое. Пусть прививка этого зла была сдела-

на чужими руками, но организм сопротивления не оказал, кровь русская этот большевизм в себя настолько впитала, что революция из кратковременного пароксизма превратилась в длительный затяжной процесс.

Чтобы понять эту совместимость зла с тысячелетним исповеданием православной веры, придется ставить вопрос, конечно не о Православии, как истинном учении древней апостольской Церкви, а об исторической установке Православия у нас в России, об отношении Русской Церкви к народу и о том, под каким углом зрения народ воспринимал идею православного христианства, как преломлялась она в его сознании, как влияла на его внутренний духовно-нравственный мир и как заставляла она русского человека оценивать мир внешний и определять свою в нем роль.

\* \* \*

Не приходится оспаривать наличия в русском народе огромных духовных сил, которых никогда не поглощает без остатка «мирская забота». Труд физический или умственный; индивидуально обособленный или артельный, общественный одинаково не может втянуть и вобрать в себя целиком всего русского человека. Кто бы ни был, мужик или интеллигент, он всегда носит в себе потребность отвлеченного мышления, и сообразно уровню своего духовного и умственного развития, сообразно своей одаренности природной, стремится, помимо своего материального места в материальном мире, отыскать еще точку опоры и для своей внутренней личности. Ему необходимо иметь «убежище для души», в котором он производит оценку всех ценностей со стороны их отвлеченно-абсолютного значения. В силу этого всякий русский человек, если только он не утратил своего русского лица, т.е. духовно не оскудел, не обезображен чрезмерно буржуазной деловитостью или мелкой мещанской озабоченностью, непременно носит в себе религиозную силу, стихию духовную, которая, в зависимости от условий и от момента, может и не проявить себя, как вера в Бога в прямом смысле этого слова, но может выразиться в «служении идее». Если же эта духовная стихия не найдет себе применения ни в области религиозной, ни в области идейной, то она проявится в тоске, в так называемой «внутренней неудовлетворенности», столь характерной для разных эпох русского «безвременья».

Отсюда и это вечное беспокойство русской души, мятущейся, ищущей. Мне кажется, нет надобности доказывать, что постоянной закваской этого внутреннего русского брожения было не-

утолимое *искание правды*, правды, то как вечной истины, то как высшей справедливости или, наконец, как синтеза той и другой.

Насколько мы можем судить теперь, вернее предполагать, *искание правды* свойственно было русскому народу и в первые века его истории. В те времена, особенно до татарщины, оно шло по пути углубления в православную веру. Катастрофа татарщины, буквально поपालившей русское книжное просвещение, — сорвала первые цветы православной культуры. Татарщина, кроме того, что-то еще сломала или исказила в народной душе. Глубоко врезалось в эту душу монгольское «тавро» — если не навеки, то на долгие века во всяком случае...

Догматически Православие, конечно, сохранилось в полной неприкосновенности и во время татарского ига и после него. Оно явило великих святых, но общий стиль и дух благочестия настолько изменились и у народа в массе и у его правителей, что сопоставляя, например, христианские воззрения Владимира Мономаха с православным образом мыслей любого из царей и князей московского государства иногда можно задать недоуменный вопрос:

— Да одной ли они были веры?

В суровых условиях нашего исторического развития, впрочем, иного и не могло быть. — Народ огрубел и одичал. Тяжелыми усилиями строилось огромное государство. Рубили колоссальные бревна, складывали «сруб». Хлопотали прежде всего о прочности здания, а об отделке его не было ни времени, ни возможности подумать. В этом «срубе», в этой избе московского царства, в красном углу было воздвигнуто Православие, врученное по необходимости «бережению» в большинстве своем совершенно невежественного, а порою просто безграмотного духовенства. И чтобы оно не *повредилось*, московская Русь крепко его оковала *чином и уставом*, не посягая на большее. Обряд и догмат в религиозном сознании народа уравнились в значении. Форма подавила собою содержание.

Петербургская Империя почти не изменила в этом отношении принципам московской Руси с тем лишь различием, что «европейское просвещение» воздвигло надстройку над старым русским «срубом», некий бельэтаж, отделанный в новом стиле, плохо завязавшийся с духом московской брусняной избы.

В «бель-этаже» старые ценности частью совершенно утратили свое прежнее абсолютное значение, частью приобрели значение относительное.

Православие перестало быть основной целью бытия нации. Оно с одной стороны сохранялось как необходимый декоративный

элемент великой Империи, как традиционная *регалия власти*, власть эту освящающая, а с другой как важнейшая нравственная дисциплина для народных масс. Из «бель-этажа» оценивали в Православии главным образом силу узды, силу рычага. Но утратив цельность и искренность старой московской позиции в деле *бережения правой веры*, петербургская Империя не только от «бережения» не отступила, а усилила его, окончательно подчинив себе Церковь и превратив ее из центрального стержня общенародной жизни в бюрократически реорганизованное *ведомство*.

Ведомство это жило и действовало в тягчайших условиях. Государственная власть, лишив духовенство всякой свободы церковного делания, лишало его и всякой творческой инициативы, как соборной так и индивидуальной ограничив его роль в России функциями *казенных требоотправителей*.

Если окованное Православие Московской Руси не имело возможности расширить и углубить духовное развитие народа, раскрытием всей полноты подлинно-христианских идеалов, то официальное благочестие Императорской России об этом уже совершенно не заботилось. Связав и поработив Церковь, императорское правительство запретило даже приходские организации и совершенно свело на нет церковную жизнь.

Истинная вера и искание христианских идеалов в силу этого порядка поневоле превратились в «частное дело каждого», а официальное государственное благочестие могло развиваться лишь в сторону внешнего благолепия. У благолепия были свои приверженцы, целый класс любителей церковных парадов и церковной пышности. И наше духовенство, в силу целого ряда причин, было вынуждено считаться именно с этой категорией «православия», в известном отношении держать равнение по линии грубо-невежественных «зиждителей лепоты», безвкусных в обрядовой стороне церковного устройства, тупых в понимании самого существа православной веры. «Зиждители» и «жертвователи» давали тон церковной жизни в Императорской России, ставили вехи благочестия, ими по-своему воспринятому и выражаемому.

К этой категории «ревнителей Православия» в императорской России примыкали и люди разных официальных рангов, которые нередко считали своим долгом вмешиваться в церковные дела и отношения. И те и другие заслоняли собою совершенно народную толщу от представителей высшей русской церковной иерархии. Нашим епископам в их общественном служении отводилась лишь торжественно-декоративная роль. Паству свою они видели очень мало и то издали и не могли оказать на нее никакого непосредственного влияния.

В силу тех же причин казенной постановки Православия, образованные классы общества свою веру проглядели. В высших кругах так называемой русской аристократии, особенно при *Александрѣ I\**, многим Православие казалось «*мужицкой верой*» и у одних появлялся вкус к католичеству, вызванный тяготением к «европейской культуре»; другие, как и сам Император, впадали в чувствительно-расплывчатый мистицизм, порождавший тяготение к сектантству и полное равнодушие к своей Церкви. Вообще же образованное наше общество не *знало* Православия, помимо его внешней стороны. До самого последнего времени перед революцией оно не знало и о существовании у нас научно-богословского творчества, почти никогда не соприкасалось с людьми исключительной одаренности и огромных знаний, которые жили и работали в России, нося рясу. В результате русская интеллигенция с невежественно-самоуверенным пренебрежением отворачивалась от Церкви, не умея в ней заметить ничего кроме «устарелых и ненужных обрядов», кроме ее вынужденного официального положения и была вполне убеждена, что «православие и самодержавие» по самому существу своему суть синонимы; она даже не давала себе труда в них разбираться и их различать.

И неудивительно, что процесс борьбы с политическим и социальным строем Императорской России, руководимый и вдохновляемый нашей интеллигенцией, был с самого начала направлен и против Церкви. Протиестественное слияние «*Божия*» и «*Кесарева*» ставило Церковь и государство в положение сиамских близнецов, и когда удар революции рассек одного из них, другой начал истекать кровью и, быть может, захирел бы от этого кровотечения, если бы внутренние, глубоко затаенные силы Православия не воскресили бы его к самостоятельному и творческому бытию.

Однако идея самостоятельного, свободно-независимого от государства и его временных интересов бытия Церкви как мы видим теперь оказалась одинаково трудно приемлемой и для борющихся ее врагов и для многого множества ее «верных чад», особенно из числа зарубежных русских. Исторические традиции в данном случае оказались сильнее понимания и почитания самой Истины церковной: соблазненная большевизмом часть русского народа убоялась, что Церковь сыграет роль поворотного социально-политического рычага; «верные» же «чада» требуют и до сих пор, чтобы она именно таким рычагом стала, целиком пожертвовав делом Христовым для дела государственного.

Если бы русский народ не имел исключительно ему прирожденного религиозного склада души, вековой государственной плен Церкви привел бы постепенно все классы нашего общества к буржуазно-мещанскому религиозному индифферентизму Западной Европы, а самая революция развивалась бы в иной плоскости и не носила бы в себе того трагического пафоса борьбы за веру и против веры, которым она насыщается чем дальше тем больше.

*Индифферентным* к религии русский народ не сделался; это очевидно, но также очевидно и то, что великая нация в момент революции далеко не явила себя целиком православной. В России, среди низших классов общества, наряду с частично развившимся безбожием, гораздо более значительно чем безбожие, развилось и сектантство. Сектантство появилось у нас впервые в очень далекие времена, и интересно заметить, что оно всегда носило характер быстрорастущей эпидемии, которая, после известного срока, почти так же быстро, начинала убывать, оставляя, конечно, то тут, то там очаги заразы. В соблазне сектантством русского народа первенствующую роль играли два фактора: невежество, искажавшее понимание Православия, не достигавшее часто не только его богословских глубин, но даже основ православного вероучения и настороженная восприимчивость русского религиозного чувства и сознания, о которой уже упоминалось выше. Интересно вспомнить здесь мимоходом о секте или «*ереси жидовствующих*», которая в XV столетии появилась сначала в Новгороде и Пскове, затем в Москве и стала распространяться и в других городах России.

Ересь эта захватила и высшие слои тогдашнего общества и духовенство, настолько, что Московский Митрополит *Зосима\**, возглавитель всей русской Церкви, к учению «жидовствующих» тайно примкнул или во всяком случае очень ему сочувствовал. Она проникла и ко двору Московского великого князя, причем сам *Иоанн III\**, горячо интересуясь недозволенной тогда астрологией, насколько можно судить, один момент был близок к соблазну под влиянием одного из своих «ближних людей», *Феодора Курицына\**, а невестка великого князя и совсем соблазнилась в ересь. Невольно спрашиваешь: каким образом тогдашние русские люди, упорно нетерпимые ко всякому иноверцу, а тем более к иудеям, в которых они во все времена склонны были видеть активных распинателей Христа, могли вдруг, именно *вдруг*,



почувствовать влечение к секте враждебной христианству и явно проникнутой духом еврейского вероучения?

Проф. *Голубинский\** указывает в числе главных причин распространения «ереси жидовствующих» на одно обстоятельство: среди тогдашних православно-верующих почему-то укоренилось убеждение, что конец мира и страшный суд должны наступить в определенно указанный (?) срок после сотворения мира. Распространители «ереси» в первую очередь смутили именно духовных лиц ссылкой на то, что срок миновал, а конца мира не последовало. И вот от того, что поколебалось совершенно противоречащее христианскому учению и всему смыслу Евангелия *суеверие*, русские люди отшатнулись от своей веры и ринулись в секту, им чужую, разрушающую не только их вековые верования, но и вековые устои быта...

И не того ли же порядка явление мы наблюдали и наблюдаем и пять веков спустя в нашем народе, среди которого *вдруг* появились яростные безбожники, после того как «образованные» коммунисты им объявили, что гром и молния вызываются не движением по небу колесницы пророка Илии, а действием электричества?

В прошлом столетии сектантство приняло в России довольно широкие размеры. Оно разбивалось на множество толков, начиная от различных выявлений хмельной дерзостно-соблазнительной мистики хлыстовства со всеми его разветвлениями, до всевозможных форм рационалистического христианства и полухристианства и кончая нелепейшими религиозными группировками, лишенными даже сколько-нибудь определенно сформулированного вероучения.

В русском сектантстве можно уловить два главных течения: мистическое искание близости Божества и стремление осуществить в земной жизни правду заповедей Божиих.

Хлыстовское погружение в исторический экстаз радений — кружения, танцы, иступленные выкрики «пророчествующих», обожание «христов» и «богородицы» — ничто иное, как буйная жажда извращенно и примитивно понимаемого богообщения, порыв к материализации невидимой благодати, к ее чувственному проявлению и ощущению. Здесь некая попытка прорваться из обыденной жизни в горний мир, вернее дерзким усилием низвести его на землю, влить *божеское* в тленную человеческую плоть и остро ощутить его сладость. Хлыстовские радения — это своеобразный грубо понятый и грубо осуществляемый «пир веры», отчаянный духовный разгул, зачастую переходящий в разгул плоти. В хлыстовстве ясно проступают элементы бунта, револю-

ционного максимализма или большевизма в области веры, не приемлющего покаянно-молитвенного, смиренно-подвижнического пути к Богу.

Совсем иные побуждения влекли народ в «штунду»\*, в *баптизм*\*, в *молоканство*\* и родственные им секты. Часто в темной душе русского человека нарастала неудовлетворенность от сознания несоответствия в окружающей его жизни между *верой* и *делами*. Он склонен был приписывать удаленность действительности от христианского идеала «неправильности» Православия и шел «искать правды» у сектантов. Это «искание правды» в некоторых сектах не ограничивалось стремлением к индивидуальному нравственному совершенствованию, но охватывало иногда и социально-экономические проблемы, пытаясь разрешить их согласно с христианским учением в пределах обособленной группы верующих. Так в тридцатых годах прошлого столетия возникла секта «*общего упования*»\*, представляющая собою строго организованную коммуну. Интересно заметить, что один из организаторов этой секты, крестьянин Попов проявивший исключительную энергию в деле ее создания, вдохновился несколькими словами из книги Деяний Апостольских о жизни первых христиан. Он прочел о том, что «все верующие были вместе и имели все общее: и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нуждам каждого... У множества уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». (Деян. 2. 44—45; 4,32). Слов этих было достаточно чтобы воспламенить сердце не одного только Попова, но и его сотрудников и последователей: с радостью мужики отдают свое достояние в распоряжение общины, продают и покидают свои насиженные гнезда... Как ни силен веками укоренившийся в них инстинкт собственности, разве он что-нибудь значит перед возможностью и необходимостью исполнения заповедей Христовых?

Вера, если она только горяча и активна, — без сомнения, самый мощный двигатель не только индивидуальный и социальный. Она может быть темна, полна самых нелепых заблуждений, наконец, она может уклониться от почитания Божества в сторону слепого почитания определенной идеи, но для русского человека даже и в этом случае она не утрачивает своей всеподчиняющей силы.

Покойный кн. *Г. Н. Трубецкой*\* передавал интереснейший эпизод, которого он сам был свидетелем. В бытность его посланником на Балканах, к нему обратились несколько русских крестьян с просьбой указать дорогу... в *праведное царство*. Крестья-

не эти все продали у себя в России и по чьему-то наущению поехали в «иные православные земли» с твердым намерением разыскать это *праведное царство* и в нем навсегда уже поселиться.

А в 1836 году последователи одного из толков молоканской секты, уверенные своим руководителем в скором наступлении второго пришествия Спасителя и Его тысячелетнего царства на земле, побросали свои дома, продали все движимое имущество и, отдав все вырученные деньги наставнику секты (кстати, убедившему их, что именно он, Лукьян Соколов, и есть «христос-спаситель», вернее таковым явится в «новом Иерусалиме»), отправились целым громадным лагерем из Самарской губернии на Кавказ...

Указанные мною случаи не единственные. В сущности, *весь народ русский так или иначе пребывал в постоянном странствовании*, которое если и не всегда выражалось в физическом передвижении, как у сектантов или паломников, то проявлялось в духовных и умственных исканиях и блужданиях.

Благодаря той пропасти, которая отделяла в России образованные слои общества от народных масс, интеллигенция и народ *странствовали* в поисках «правой веры» и «правды», каждый по своему. Интеллигенция совершала паломничества по «обителям» западно-европейской мысли, народ же то припадал к монастырским святыням, то к старцам, то к «братчикам», то уходил в секты.

И нигде как в России жажда правды и веры в свою правду не пересекали с такой силой сословных перегородок и «классового самосознания»: от Новикова и Радищева через декабристов до Кропоткина, Лизогуба, Перовской и других — целой плеяды типично русских *сословных эмигрантов*, над которыми Вандомской колонной возвышается Лев Толстой.

Некоторые из русских сект стремились, как мы уже указывали, к разрешению проблем социальной справедливости, тех проблем, которым целиком отдавали себя наши подпольные революционные партии. Правда, и тут и там проблемы эти ставились в разных плоскостях и подход к ним был совершенно, конечно, различный, но тем не менее приходится констатировать, что неверующие в Бога русские народовольцы и социалисты вносили в свое «служение идее» не меньше религиозного пафоса и самоотвержения нежели фанатически верующие сектанты. Вообще между русскими сектантами и подпольными русскими революционерами было чрезвычайно много общего *в духе*; много сходства в положительных и отрицательных чертах и тех и других.

Что же касается тяготения лучших представителей русского революционного движения к жертвенности, к мученичеству, и их зачастую строго аскетической настроенности, то конечно, эти их качества не с европейского Запада были к ним принесены, а внушались голосом русской крови, вековой и непобедимой силой русской религиозной стихии.

---

Но в тех случаях, когда вековая приверженность к вере отцов, по чувству ли глубокого благочестия или по инстинкту привычки и по уважению к традиции, удерживала русского человека от соблазнительных уклонов, как относился он к православному учению, как относился к официальной Церкви и какое мировоззрение примиряло наиболее активно верующие элементы народа с глубочайшим несоответствием веры Христовой и дел человеческих в жизни «благочестивого», сверху донизу «освященного» русского государства?

Как ни безграмотен и темен был народ, все же он кое-что понял и усвоил еще с той поры, когда ему, во-первых, был более понятен церковно-славянский язык, во-вторых, когда житийная литература, если не письменным, то устным путем достигала до него. В апокрифах и сказаниях отразились религиозные представления народных масс: резкий контраст добра и зла и соответственного за них воздаяния в загробном мире. Райское блаженство угодников сияло неприступным светом; грех казнилсся с неумолимой строгостью, даже жестокостью. Правосудие небесное в народном сознании до некоторой степени неизбежно отражало суровость правосудия земного. В известном сказании о *«Хождении Богородицы по мукам»*\* зрелище наказания грешников настолько нестерпимо для Пречистой, что она со слезами говорит сопровождающему Ее Архангелу Михаилу: «да вниду и аз да ся мучу со крестьяны». И лишь по усиленной молитве Богоматери, ангелов, апостолов и всех праведных, смягчается несколько Сын Божий и устанавливает для грешников перерыв в их мучениях — «день и ночь от великого четверга до святого пянтикостия».

*Бог есть Любовь* — эта мысль не приемлется до конца народным сознанием. Бог справедлив, но строг и не может забыть, как Его мучили на земле, как не исполняли Его заповедей. Кроме того, Он по высоте своей далек от грешного рода человеческого, от понимания его слабостей. Богоматерь и святые ближе стоят к людям, молитва к ним «доходнее» и они вечно ходатайствуют перед Богом за людей и, кроме того, сами часто по земле стран-

ствуют, облегчая тяготы человеческие и потом рассказывая Богу о земных страданиях. Так, например, в народе существовала уверенность о хождении по земле Николы-угодника, а паломники в Троице-Сергиеву Лавру убежденно рассказывали, что у «батюшки *Сергия* преподобного есть лапотки лыковые, в которых он по всей земле русской странничает и от многого его хождения те лапотки изнашиваются и на всякий год ставят ему у его мощей новые лапотки».

Усиленное почитание угодников у русского народа вызывалось еще и тем, что образ святого, много на земле потрудившегося и почти всегда много пострадавшего и вольно и невольно, облегчал и человеку несение его земной тяготы. В этом отношении и образ Христа распятого и страдающего был особенно близок, *жалостно дорог*. Сложилась и поговорка: «Христос муки терпел и нам терпеть велел».

Идеал праведного жития, осуществленный подвижниками, имел на русский народ своеобразное влияние. Это был *идеал аскетически-монастырский, достигаемый хоть сколько-нибудь лишь вне мира*. Особенно строгие к себе святые не только от житейской суеты отстранялись, но даже не хотели жить и в обителях, людных и богатых, а всегда стремились в *пустынь* — в глухие места, на берега отдаленных рек и озер. Подвижничество удалившегося отшельника и достигнутая им в затворе праведность для народа имели значение яркого прожектора, освящающего все провалы и рытвины печально-непроходимой пустыни, которая называется *мирской жизнью*. Слагалась уверенность, что эту жизнь ни улучшить, ни изменить нельзя. Надо ее терпеть, если нет возможности с ней развязаться для душевного спасения. А чтобы легче было терпеть и чтобы грехи мирские замалывать, следует хотя бы от времени до времени соприкоснуться со святыней монастырской: ходить на поклонение почившим угодникам и по возможности искать наставления от праведных людей.

Историческая роль монастырей в русской культуре вообще, и в русском духовном просвещении в частности, в значительной степени и надолго укрепила двойственное отношение народа к Церкви — к черному и к белому духовенству.

Насколько обитель, особенно если в ней были строгие постники и аскеты, привлекала к себе благочестивого русского человека, настолько к белому духовенству, к так называемым «попам», он оставался равнодушен.

Положение, в которое священники были у нас поставлены государством в их приходском служении, много способствовало этому равнодушию, переходившему зачастую даже в пренебре-

жение. Кроме исключительных случаев, общения с духовенством, помимо треб, почти во всех классах общества у нас никакого не было. Простому же человеку и в голову не приходило обратиться к своему батюшке для совета, для духовного руководства. Чтобы эта стена, отделявшая всякого священника от его прихожан, могла быть сломана, представителю белого духовенства требовалась репутация почти что святого — целителя или прозорливца. И духовенство наше жило замкнуто, будучи изолировано от своих пасомых всем укладом русской жизни. У нас даже считалось *дурной приметой* «попа на дороге встретить». В экстренных лишь случаях «посылали за попом» (классическое русское выражение для совершения необходимой требы). Священник не был членом общества ни в простонародной, ни в интеллигентной среде. И чем дальше, тем больше духовенство наше отстранялось от всякого участия в общекультурной жизни страны.

Что же касается мужика, то он ходил к священнику только «за делом», как в лавочку за дегтем и, зачастую, как в лавочке с ним торговался о свадьбах и похоронах, строго вычисляя всякую подробность ритуала и туго набавляя тяжелую мужицкую «деньгу».

«Поп» и приходская церковь были одинаково принадлежностью и парадной веры и парадного быта. И чем больше усложнялась жизнь под влиянием проникавших в нее новых веяний и экономических интересов, чем дальше отодвигался аскетический идеал монастыря, да и сам монастырь утрачивал свою прежнюю возвышенную настроенность, — тем больше «поп» и церковь из области горячей веры отодвигались в область быта, привычной необходимости. В праздник обедню нужно было «отстоять» и потом «попа с крестом принять». Это также требовалось для большого праздничного торжества, как купить водки, зарезать барана или свинью. «Отстаивая» службу, народ крестные знамения и поклоны исполнял усердно, но *молился* он по-настоящему, со слезным умилением, пожалуй, больше всего на специальных только богомольях, куда ходил или по обету или по зову души. Церковная служба в приходских храмах давала мало духовного назидания русскому простому человеку. Добросовестно присутствуя при непонятном в большинстве случаев безобразно скороговорочном и механическом чтении в церквах, он ничего почти не почерпал из богослужения и, если и испытывал благоговейное чувство в моменты особенно торжественные, то только потому, что его сознание продолжало еще питаться старым, историческим запасом народного благочестия и народных знаний в

области веры, передаваемых из поколения в поколение совершенно независимо от приходского духовенства.

Медленно угасая, вернее говоря заслоняясь иными помыслами и впечатлениями бытия, аскетический монашеский идеал праведности в сущности оставался последней и единственной базой христианских воззрений народных масс, их единственным нравственным критерием.

В течение ряда веков мир в целом кажется простому русскому человеку так греховен и плох, что и на мысль не приходит его перестраивать. Личная участь каждого, личная судьба то же лишь несение «бремени тяжкого и греховного». Но облегчить его нечем, только надо стараться душу спасти положенной молитвой и полученным постным уставом, надо припадать в земных поклонах к «матери-сырой земле», от которой «взят» человек и в которую «отыдет». Смерть настолько не пугала (страшно было лишь «умереть без покаяния»), что о ней говорили спокойно-просто, даже с самими умирающими, и каждый с известного возраста готовил себе к смертному часу необходимое одеяние, а в некоторых случаях особенно благочестивые старики из крестьян, действительно походившие на склоне своих лет на святых отшельников, заготавливали даже и гроб, который иногда годами стоял в каком-нибудь чулане.

Россия во все времена являла собою даже внешне образ презираемого мира: нигде не был так разителен контраст деревенских изб, даже городских домиков и домишек с высокими, чаще всего белыми, каменными храмами. В храме «блистание» — позолота, роспись, дорогая утварь; здесь православные служат Богу, а в избах и домишках люди живут; тут «тлен земной», теснота и небрежение. Правда, в избе и в домишке всегда есть «красный угол», но за то три остальных угла безнадежно черны. Внешнее это обличье России было символом внутреннего строя народной жизни: светилась лампадой часть души, обращенная к Богу, часть *праздничная*, а человек к человеку подходил в будничной темноте, часто в грехе. Была жалость к человеку, особенно страдание к несчастному, даже к преступному, но уважения не было. «Образа и подобия Божия» русский человек всегда искал только на иконе, а в людской душе он замечал «образ и подобие» лишь в том случае, если видел перед собою святого и праведного, аскетизмом своим уподобляющегося угоднику на иконе.

Мирская беспомощность и безнадежность создавала к греху двойственное отношение. С одной стороны грех страшен, ибо он ведет к вечной гибели и адским мукам, а с другой стороны он неизбежен и даже привычен как «тяжкий дух» в мужицкой избе,

как затертая рубаха «близкая к телу», которую «не хочется скидывать». От тяжелой жизни человек устает и подпадает слабостям. Первая и главная слабость — это пьянство. Обычный тон русской простонародной жизни всегда был суров и хмур. Веселость не в нашей природе; смех благочестивыми людьми осуждался: смеяться — значит «беса тешить». Хмурость эта породила часто тоску и тогда человек не выдерживал и «загуливал». Но, кроме того, и праздник освобождавший и от тяжелого труда и от связанной с ним угрюмости, понимался как разрешение «слабости» и превращался уже в общий «разгул», не знавший часто границ. Любовь к крайностям — наше национальное свойство, и нигде не были так резки переходы от бесшабашного разгула к строгому посту и обратно, как в России, не только у мужиков, но и в других классах общества, придерживавшихся правил исконного нашего быта.

Пьянство, конечно, выбивало из колеи и сугубо толкало не только к греху, но и к преступлению. Тогда говорили: «потерял себя человек», но не отворачивались от него с презрением и с безнадежностью. Иногда путь греха мог быть внезапно пересечен путем покаяния и спасения. Знаменательная русская поговорка — «не согрешишь — не покаешься», выражала собою не одно только снисхождение к греху, но и нечто иное. Если грех толкнет в черноту провала человеческую душу, то вот именно там, на дне этого провала и пронзится она сокрушением и плачем покаянным. Русский человек имеет свойство иногда в падении своем ушибаться о собственное свое окаянство и от этого ушиба внезапно встать. В глубине пропасти свет воссиять может порою гораздо более ослепительный, нежели в пасмурных буднях обыкновенной жизни. Не даром так возлюбил и воспел народ размах крайностей:

Было двенадцать разбойников,  
 Был Кудеяр-атаман  
 Много разбойнички пролили  
 Крови честных христиан...

Сначала кровь — «кровушка», — без меры проливаемая, а потом раскаяние и подвиг, самый суровый, самый тяжелый, и вот уже «разбойнички» (ласкательное!) стали подвижниками.

Александр Блок в знаменитой поэме «Двенадцать» ничего *своего* не выдумал; напрасно на него нападали: он только подчеркнул *русскую тему* в первой ее части, как она была ему дана самой жизнью, а вторую часть лишь наметил мелькнувшим в его творческом сознании образом конечного исхода русской революции...



А Леонов в своем изумительном «Сказании о бесе Азлаивоне и о Нифонтовой пустыни» развернул эту тему с такой силой и глубиной, что это произведение по своей художественно-пророческой яркости и психологическому реализму, пожалуй, не знает себе равных.

\* \* \*

Жизнь православной простонародной России очень долго представляла собою подобие своеобразного мирского монастыря, с неизбежным, порою очень тяжким, мирским грехом, но с чисто монашеской идеей *послушания*. Послушание не только Богу, старшим в семье, послушание начальству всяческому, но и послушание своей судьбе, покорное приятие своей участи.

Официальная Церковь не имела возможности вызвать в русском народе его творческие христианские силы, заставить действовать в его жизни великую преобразующе-созидательную энергию Православия. Духовенство наше вынуждено было лишь стараться поддерживать в своих пасомых негативные добродетели.

Зачастую ищущие элементы поэтому и уходили в сектанты, надеясь осуществить в нем те идеалы нравственности и нравственной культуры, которых они не видели в быту своих православных братьев. Если сектантство и не давало им полноты подлинной Православной церковности, которая, кстати сказать, была вообще далека от осуществления в обычных условиях русской жизни, то по крайней мере к упрощенному христианству евангелического типа они получали самый широкий доступ. Бывали случаи, когда крестьяне или рабочие возвращались из «штунды» в Церковь, научившись и грамоте, и священному Писанию и этим именно путем приобретая возможность более сознательного отношения к религиозной жизни и к религиозным вопросам.

У сохранявших же верность Церкви, благодаря мертвяще-казенному духу благочестия, выработалось постепенно чувство пассивного приятия «мира, во зле лежащего». Все совершающееся и в отдельной человеческой жизни и в жизни общественной и государственной определялось тремя двигателями: «Бог помог», «Бог попустил», «Лукавый попутал».

Четвертого двигателя — творческой *христианской свободной воли* как будто и в помине не было.

При этих условиях «мирской монастырь» простонародной жизни неизбежно должен был подвергнуться разложению под натиском той силы, которую приносил так называемый «про-

гресс». Он погасил и потряс прежние идеалы и установки жизни, и на месте отсутствовавшей *христиански свободной воли* водрузил безбожное *своеволие*.

Нет надобности говорить о том, как проходил у нас постепенный процесс обезбоживания простого народа.

Вера линяла, как линяют краски на холсте, обнажая серый грунт. Тот факт, что в вере мужицкой, особенно в синодальный период, всегда было больше страха наказания, чем любви, облегчал дело обезбоживания масс. Развеянный страх сразу будил все инстинкты темные, звериные, земляные. Рано или поздно они должны были прорваться, после того как натиск «прогресса» сломал ограду простонародного «мирского монастыря». И момент наступил. Соблазн опалил души, помрачил сознание.

Соблазн был страшен и жгуч: отпихнуть в сторону и ад и рай, о которых что-то невнятное говорили «попы» и устроить свой рай, вот тут, в своих собственных хатах, понежить кости мужицкие всеми благами, давно уже дразнящими и теперь доступными, да кстати уж и «погулять во всю» — натешиться над теми, которые «нарочно держали народ в темноте и тесноте».

Религиозная стихия, как органическое свойство русского духа, ничуть не утратилась народом. Она с одной стороны временно заглохла, анестезированная предварительной обработкой мужицкого сознания и хмелем «разгула», а с другой стороны, помраченная любопытно-алчным стремлением «пожить по новому праву», потекла по руслу фанатического безбожного изуверства.

И первый период революции весь прошел в звериных воплях раздраженного чрева перед лицом добычи. Это и был период «разгула». «Гуляла» и новая власть. В первоначальном терроре вообще, в частности же в терроре противцерковном, гораздо больше было хулигански-злобного и мстительного озорства, чем какой-то продуманной системы.

Церковь преследовалась как нечто от старого режима. Обвинения в контрреволюции, предъявляемые ей тогда, если и были ложно подтасованными в каждом отдельном случае, то в общем, несомненно, основывались на крепкой уверенности новой власти в политической неблагонадежности церковных сфер.

В самый первый момент революции власть обрушилась на Церковь при известном, пожалуй, сочувствии взбаламученных народных масс. Но недоброжелательное недоверие к Церкви, заразившее в момент переворота даже далекие от коммунистических симпатий слои рабочих, отчасти и крестьян, скоро развеялось. *После долгих веков Россия увидела и поняла, может быть,*

*впервые, что Церковь от Бога, а не от государства получает свое истинное бытие.*

Воле Высшего Промысла было угодно, чтобы именно в это время, при первых раскатах большевистской революции, преобразованное Патриаршеством, соборное Православие явило лик смиренно-величественный, благостно-прекрасный...

Вся страна, конечно, не могла ни увидеть, ни почувствовать сразу сияния обновленной Церкви. Далеко было до центров, где в первую очередь перестраивалась церковная жизнь, да и не до того было: революционная волна в это время еще только разбегалась по русским просторам...

Первая склонилась перед Церковью интеллигенция. Не то чтобы она вся сразу мгновенно уверовала в отрицаемого ею дотолле Бога, но она была растеряна, ошеломлена неожиданным исходом столь желанного освобождения, она ощутила свою отброшенность революцией, свое бессилие и одиночество в кровавом вихре событий. С изумлением она заметила, что во всеобщем хаосе одна только Церковь не поколебалась, каждым шагом своим свидетельствуя готовность нести Крест Христов до конца под всеми ударами настоящего и будущего.

Вскоре чувство Церкви стало пробуждаться и в народных массах. Оно развивалось пропорционально разочарованию в «завоеваниях революции». Хмель рассеивался. Разруха и голод в стране наводили панику. Не захваченная партийными сетями, часть рабочего класса, ощущая на себе гнет советских цепей и не умея их сбросить, потянулась к религии от смрада «пролетарских клубов», от клокочущей кругом ненависти, зависти и разрушительной злобы. Только в Церкви и около Церкви можно было дышать чистым живительным воздухом. Деревня, после оконченного праздника революции, тогда вступилась было за своих «попов». Но на первых порах она старалась сберечь их для себя не столько на потребу покаяния в грехах и усердной молитвы, сколько из чувства бытового самосохранения, подсказанного инстинктом самосохранения экономического. Не получив от большевизма и половины обещанных благ, увидав, как дорого за эти блага приходится платить, мужицкая Россия в лице своего зрелого поколения совершенно разочаровалась в новом режиме. А разочарование привело к «переоценке ценностей»: «попа» и Церковь она опять ощутила как *свое* — вековое и крепкое, которое надо беречь как свою избу, свой надел.

Но повернувшееся спиной к революции народное большинство, ни революции, ни ее последствий не избыло. Массы не сумели противопоставить большевистскому своеволию своей

воли; во многих случаях не сумели они оградить от отравы большевизма не только молодого поколения, но даже подростков и детей.

\* \* \*

Разрыв поколений нигде вообще не сказывался с такою силою как в России. Тема «отцов и детей», по целому ряду причин, преимущественно *наша* тема. За некоторое время до революции она вошла и в простонародную жизнь. Революция же, с ее упорным стремлением к идейной и моральной денатурализации наиболее податливых элементов, разрыв этот чудовищно обострила. Разложению семьи способствовала, кроме того, социальная и экономическая обстановка большевистской разрухи, которая создала не только два взаимно-чуждых, а иногда подозрительно-враждебных фронта «отцов и детей», но целую небывалую нигде категорию «безотцовских детей» — духовных приемышей пионерства и комсомольства. «Не помнящим родства» стал в советской России не только несчастный *беспризорный* бродяга, трагически потерявший семью, но подросток и юноша, намеренно от семьи оторвавшийся или оторванный. Русский коммунизм, утверждающий весь пафос своего строительства на абсолютной ампутации всякого прошлого, всякого исторического наследия преемства, выработал особую психологию, особое самоощущение и мироощущение под лозунгом «без вчерашнего дня». За двенадцать с лишним лет память о вчерашнем дне вообще в России очень ослабела: у одних эту память «отшиб» террор и каторжная борьба за существование; другим, — молодым, а особенно совсем юным помнить то уже было нечего! Они выросли в искусственной атмосфере, старательно изолированные от всяких влияний со стороны.

Когда руководителям русского большевизма понадобилось объявить окончательно войну всем моральным основам жизни, укрепляемым теперь духовно преобразившейся Церковью, то они решили для этой войны сформировать особую армию, которую при случае всегда можно пополнить насильственной мобилизацией подсобного ополчения из среды особенно запуганных, затравленных и потому автоматически повинующихся советских «граждан». Если такое «ополчение» активно наступать и не будет, то оно даст то, что в театре называется толпой статистов и выпускается в массовых сценах.

Но для боеспособности всякой армии ей необходим прежде всего подъем. Обветшала «идея» коммунистического «строи-

тельства», неудачливого на всех фронтах, порыва к борьбе дать не могла.

Большевицкая революция, яростно выметая все следы «вчерашнего дня» решила вдохновить свою армию, составленную преимущественно из «безотцовских детей», пафосом *черной веры* и бросить ее в атаку на Православную Церковь, а кстати уже и на все без различия религиозные исповедания.

Кадры воинствующих безбожников, руководимые и поощряемые государством, выпущены были в полном своем составе для открытого боя уже тогда, когда власть длительной системой непрекращающегося, сложно-утонченного террора обессилила все население России сверху донизу и лишила его всякой возможности физического сопротивления.

Новая секта, безудержная и жестокая, очумелая от своей *черной веры* начала править тризну по христианству совершенно в таком же состоянии дикого транса, в какой впадают какие-нибудь чернокожие племена, совершая человеческие жертвоприношения своим богам...

Эта страшная и безумная тризна с каждым днем становится яростнее: разрушаются до основания сотни храмов, даже те из них, которые еще так недавно охранялись самой же властью в качестве «памятников искусства и старины»; сдираются древние иконы и летят в огненные костры; вековые колокола замолкают, снимаются для расплавки... Кажется, издали видны остервенелые лица разрушителей, их звериный рев достигает во все концы мира, и создается такое впечатление, что уже не из глубин Азии, а из недр самой России в двадцатом веке вырвались полчища «внутренних гуннов» или татар, саранчою все уничтожающих на своем пути...

\* \* \*

На тринадцатый год иступленного богоборчества и войны, объявленной всем основам христианской нравственности, неужели еще можно говорить о «шайке, захватившей власть»; о большевизме, как о явлении нам *чуждом* и *навязанном* нации путем обмана и террора? Эти тысячи комсомольцев, которые, наподобие старо-новгородских ушкуйников, неистово громят всю страну, разве они привезены к нам в «запломбированном вагоне»? Ничтожен был бы тот народ, который из одного лишь рабского страха, терпел бы над собою издевательства *кучки* каких-то пришельцев.

Нужно решиться, что большевизм есть явление чисто русское, такое же *кровное*, как «двенадцать разбойничков», как «Тушинский вор» со своими сторонниками, как пугачевщина, как всякая вообще бесчинствующая русская *вольница*, в известные моменты подавляющая своим злобно-отчаянным *своеволием* мало развитую волю и мало развитое нравственное и религиозное сознание народа.

До сих пор в русской истории наблюдались сравнительно незначительные *колебания почвы*; теперь мы стоим лицом к лицу с гигантским землетрясением, от которого задрожала шестая часть всего земного материка. И нет нужды в том, что большевизм явил себя в форме коммунистической партии, что к нему прицепили флаг Карла Маркса и еще какие-то малопонятные для народа лозунги. Коммунизм в большевизме русском играет такую же точно роль, как титул «Государя Петра Федоровича» («для порядка» присвоенный себе Пугачевым) играл в буйном восстании казаков и крестьян.

Русская революция клокочущее извержение сплава греха, невежества, буйства и беспокойно-безотчетных исканий, которые накоплялись в народе с момента его порабощения татарами, накоплялись и под пятой воевод московских государей и под скипетром императоров, ошибочно определявших миллионные массы своих верноподанных как некую весьма мирную «серую скотинку», покорную, тихую и нерассуждающе богобоязненную.

Русская Церковь в лице своих не только высоко христиански настроенных, но исключительно духовно одаренных, *мудро прозорливых* руководителей раньше всех поняла и существо русской революции и ее вероятный конечный исход. Она, вопреки надеждам и пожеланиям большинства (особенно большинства зарубежного), не стала с государственным строем, принесенным в Россию бушующим потоком революции, не восстала против временных *форм* большевизма, но крепко противопоставила *самому существу* русского недуга свою неколеблящуюся силу. Церковь убедилась в том, что все *порывы религиозного чувства*, проявлявшиеся иногда очень внушительно в народных массах с первых моментов переворота, не имеют в себе достаточно упора и повелевающей энергии, чтобы остановить бешено текущую лаву; что лишь глубокое *религиозное сознание* способно победить смутные, сбивчивые, безумно-бредовые искания большевизма, уже теперь ощущающего свое бессилие и борющегося с ним пьяным возбуждением террора.

Православие не знало ни религиозных войн, ни крестовых походов. Не в его высоком христианском строе и трезвенном духе

исповедовать веру свою мечом, взывать к страстям толпы, хотя бы и самым как будто благородным, и на взрыве этих страстей строить свою борьбу и свою победу.

Меч и кровь — область фанатического Ислама. Лишь ущербленное западное христианство могло прибегать к ним, как к средству для не апостольского и не христианского распространения своего владычества. Но истинное Православие не может следовать по этому пути, сколько бы ни взывали к нему истерзанные и ослепленные своим страданием люди.

От Христа «испившего до конца чашу унижений и мук, от Христа связанного, потом распятого, отрекся в смущении даже величайший из Его Апостолов и убежали ученики... И Христос, провидя и смущение и измену верных, сказал: «когда вознесен буду от земли всех привлеку к себе».

Путь Русской Православной Церкви мало и трудно понятен миру — путь спокойного незлобия посреди беснующихся, путь терпения, отвергающего всякую помощь земной человеческой силы. Путь Христа, сказавшего Петру: «вложи меч в ножны». И мы русские, в большинстве нашем его не вмещаем. Не вмещает его ни оскорбленное наше сердце, ни наша человеческая любовь к нашей поруганной земле и поруганным святыням; не вмещает его и наше старое «православие», веками опиравшееся на государственный меч, то «православие», которое беспомощно и робко отступило перед огнедышащим извержением большевизма из глубины темных русских недр, и всеми слезами своих вспугнутых и усомнившихся душ не могло залить всероссийского пожара...

Церковь в лице своих верховных руководителей не отступает ни перед гонителями, ни перед теми, кто призывает ее обнажить меч «в защиту православной веры».

Незаметное для наших глаз, совершается дело духовного обновления в русском народе. Семя посеянное «при дороге» и «на каменистом месте» и в «тернии» не может «дать плода»... Еще бурлит, ища настоящего русла истины, религиозная стихия среди самих верующих. Широко, как никогда, раскинулось в России сектантство. Самое мученичество Церкви явилось соблазном для тех, которые веру свою строили на песке чувства, бытовых привычек и пассивного пребывания в ограде церковной. «Бог попустил!» как молния, опалило их ум, когда разлив богоненавистничества потряс видимые, рукотворные святыни Православия. И опаленному уму предстал соблазн сектантства: «Бог попускает потому, что и храмы и иконы были ему неуютны».

Сектантство повлекло к себе и тех, кто упрямо продолжал подзревать в Церкви враждебную силу контрреволюции, силу «старого строя», а между тем растревоженным духом искал Бога. Сектантство «всегда гонимое», пытается облечься ореолом истинного христианства, не связанного ни с каким государственным строем... Оно в некоторых случаях приемлемее и для сдавленного марксизмом сознания кающегося комсомольца...

И перед лицом безбожия, построенного на «научных основах материализма», и перед лицом рационалистических сект, отвергающих «суеверные обряды» Православия, верующий русский человек должен, наконец, осознать и исповедать свою веру; из области исключительно эмоциональной перенести ее в область сознания и творческого духа; принять Православие всем своим существом как основу жизни, как «столп и утверждение истины».

Как ни оторваны мы от России, но уже доносятся оттуда свидетельства о том, что, чем дальше, тем чаще «семя» Православия падает «на добрую землю». Не в центрах только, где сосредоточены главные силы Церкви, но в глухих деревенских углах «споры о вере» ведутся и разрешаются в течение веков неслышанным в России путем: сельский священник явившийся в деревню, где православные и баптисты состязаются в вере недоброжелательными словами и действиями, предлагает и тем и другим начать «*состязаться в любви*»...

Сияние преображенной Церкви, постепенно пробивая крошечную тьму *черной веры*, расходится с вершин церковных животворящими лучами по русской земле избитой, оскверненной, окровавленной. И в сиянии этом нет ни гнева, ни страха, ни мести, а только молитва и любовь. Молитва Голгофы, молитва распятого Господа: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Любовь Христова призывающая всех измученных, растерянных, маловерных: «Прийдите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас»...

\* \* \*

Когда нападают на государство, то оно своим оружием и защищается — войной, кровавым уничтожением врага. Но когда на Церковь нападают ее внутренние враги, т. е. хотят *запретить действию силы Божией в верующих*, то эта сила Божия не может обороняться государственным оружием, она защищается оружием Христовым — духовным просвещением и спасением врага через любовь к нему. Церковь не может впасть в панику, взы-



вать к воздействию материальной силы, иначе это будет не Церковь в ее соборной полноте и благодати Св.Духа, а лишь собрание номинальных христиан, выронивших из рук оружие веры и любви.

Церковь, сама не посягая на жизнь и душу согрешившего, не может и ополчаться на него тех, которые хотят его погибели. Если бы даже и удалось материальному оружию истребить грешников, то такая победа не только не будет победой Церкви, а свидетельством ее бессилия, ее покинутости Христом. Церковь никакого преступника не может ненавидеть, она ненавидит только *грех, его одолевший*, и только с грехом борется, противопоставляя натиску греха и злобы слова Христовы: «не бойтесь, Я победил мир». Ибо если она воистину Церковь, а именно подлинное Христово Тело, то она должна и действовать по разуму Христову. А борьба кровопролитным оружием есть действие не по всеблагому разуму Христову, но по страху и злобе человеческим. И такая борьба *греха не убивает*, хотя и убьет согрешившего, — мало того: она усиливает и порождает грех.

Слова «*врата адовы не одолеют*» (Церкви) отнюдь не означают того, что в какой-то момент материальная человеческая сила избавит Церковь от гонений, поставит ее в полную физическую безопасность... Христос ни апостолам, ни всем своим истинным последователям не обещал безопасности, говоря: «и будете всеми гонимы за Имя Мое»... «Врата адовы» разверзаются часто перед Церковью не со стороны только ее явных гонителей, но и со стороны заблуждающихся ее последователей, искушающих Церковь соблазном меча, обеспечивающего ей «тихое и мирное житие» и ту «свободу совести», которую так легко преодолевает в благополучном западном мире не воинствующее и безумно большое безбожие русских «разбойников», а спокойный, сытый «культурно»-самоуверенный буржуазный атеизм.

Католическая инквизиция была свидетельством того, что на западе притупилось до бессилия оружие силы Христовой. Православие же охранялось лишь щитом благодати Св.Духа.

Если думать, что Русская Церковь спасена будет только государством или через государство насильем и мечом, то надо отказаться от того члена Символа веры, который исповедует «Единую, Святую, Соборную и Апостольскую Церковь», а затем уже отказаться и от веры во Христа, ибо если Тело Его немощно и без охраны мирских стражей, не живет, не животворит и не спасает, то и Христос не Богочеловек и вера в Него напрасна...

А веровать в Церковь не значит только посещать богослужение и держать посты, но «во вся дни живота нашего», даже в са-

мые лукавые дни, ощущать и сознавать ее *надмирную незыблемость и истину* и исповедовать эту незыблемость и эту истину, если и «ни одного храма рукотворного не останется, если пророчества прекратятся, и языки умолкнут и знание упразднится», ибо «любовь никогда не перестает».

*Быть христианами настолько недостижимо трудно*, что без помощи Христа не вступить человеку на «узкий путь», не приблизиться к «тесным вратам» Царства Божия. И не приемлют «мехи ветхие» нашего полуязыческого сознания той правды истинного христианства, которую несет миру преображенная Русская Православная Церковь под ударами своих врагов, среди недоумения и ропота «ревнителей веры».

